

Жанры речи. 2023. Т. 18, № 2 (38). С. 146–154

Speech Genres, 2023, vol. 18, no. 2 (38), pp. 146–154

<https://zhanry-rechi.sgu.ru>

<https://doi.org/10.18500/2311-0740-2023-18-2-38-146-154>, EDN: NRFELL

Научная статья

УДК 821.161.1.09-4+929Ушинский

Поэтика человеческого общения в очерке К. Д. Ушинского «Поездка за Волхов»

В. В. Прозоров

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Прозоров Валерий Владимирович, доктор филологических наук, профессор, научный
руководитель Института филологии и журналистики, заведующий кафедрой общего
литературоведения и журналистики, prozorov@info.sgu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6386-0759>

Аннотация. Публицистика во всем богатстве её жанров традиционно ощущает себя на зыбкой границе собственно художественно-образной коммуникации и коммуникации, непосредственно освещенной жизненным / житейским опытом автора-повествователя и оснащенной фактографической достоверностью. Перспективно в этой связи вводить в круг специального речежанрового интереса наиболее выразительные художественно-публицистические публикации разных (в том числе и отдалённых от нас) историко-культурных эпох, в которых запечатлен богатый материал для понимания поэтики человеческого общения. Моя задача – предъявить один из таких крайне редко привлекающих профессиональное филологическое внимание текстов, который может служить источником жанроведческих наблюдений, сосредоточенных на эстетической (а в нераздельности и этической) компоненте устной диалогической речи. Очерк К. Д. Ушинского «Поездка за Волхов» (1852 г.) представляет собой примечательный свод многочисленных образцов русской разговорно-речевой культуры, проливающих свет на наследуемую нами, вопреки всем последовавшим глобальным историческим превращениям, поэтику сочувственного и доброжелательного человеческого общения. Очерк содержит много ценных образцов русской народной речежанровой культуры в их исторически конкретных, повседневных преломлениях и осуществлениях. Предметом нашего аналитического рассмотрения являются жанры проводов-прощаний на пристани, случайных и доверительных разговоров, споров, приводящих к согласию, незлобивых и забавных пререканий, дружелюбных насмешек и передразниваний, участливых расспросов, публичного покаяния, исповеди странника и др.

Ключевые слова: поэтика человеческого общения, публицистика, К. Д. Ушинский, «Поездка за Волхов»

Для цитирования: Прозоров В. В. Поэтика человеческого общения в очерке К. Д. Ушинского «Поездка за Волхов» // *Жанры речи*. 2023. Т. 18, № 2 (38). С. 146–154. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2023-18-2-38-146-154>, EDN: NRFELL

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

Poetics of human interaction in K. D. Ushinsky's essay "A Travel to Volhov"

V. V. Prozorov

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Valery V. Prozorov, prozorov@info.sgu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6386-0759>

Abstract. Publicistics in all variety of its genres is traditionally perceived as a shaky boundary between the fictional imaginative interaction and interaction lit by the worldly life experience of the author / narrator and equipped by factual authenticity. In this connection it seems worthwhile to introduce into genre studies most meaningful fictional and publicistic publications of different (including really distant from us) cultural-historical periods, where one can find abundant data which will help us understand poetics of human interaction. My goal is to demonstrate one of the texts which extremely seldom attracts professional philological attention and which may be a source of genre observations, focused on the aesthetic (and ethical as well) component of spoken dialogue discourse. K. D. Ushinsky's essay "A Travel to Volhov" (1852) is a remarkable collection of

numerous specimens of Russian colloquial culture, casting light on the poetics of sympathetic and kindly human interaction which we inherit regardless of all followed global historic transformations. The essay contains many valuable specimens of Russian folk speech genre culture in their historically specific every-day interpretations and actualizations. The subject of our analytical research is genres of farewell scenes at the wharf, occasional confidential talks, arguments coming to agreement, unmalicious and amusing bickering, friendly mockery and mimicry, warm-hearted inquiries, public contrition, pilgrim's confession, etc.

Keywords: poetics of human interaction, publicistics, K. D. Ushinsky, "A Travel to Volhov"

For citation: Prozorov V. V. Poetics of human interaction in K. D. Ushinsky's essay "A Travel to Volhov". *Speech Genres*, 2023, vol. 18, no. 2 (38), pp. 146–154 (in Russian). <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2023-18-2-38-146-154>, EDN: NRFELL

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Представления о поэтике человеческого общения с опорой на суждения авторитетных предшественников рассматриваются в работах В. В. Дементьева [1: 103; 2: 121–150]. Ученый подчеркивает, что терминологически полноправным понятием «поэтика человеческого общения» можно обозначить «направление, находящееся на пересечении теории художественной речи, стилистики и теории коммуникации». Справедливо утверждение: «Эстетически значимые коммуникативные смыслы – не прерогатива письменных текстов художественной литературы, а часть повседневной жизни, более того – явление распространенное, узнаваемое, необходимое» [2: 132]. Верно и то, что сама жизненная повседневность, концентрированно внятно и наглядно являющаяся себя в необозримых пределах художественного мировидения, особенно отчетливо способна проступать в текстах художественно-публицистических. О роли публицистики в истории русского литературного языка, о природе публицистического дискурса в общем составе отечественной культуры см.: [3: 50–62; 4: 498].

Публицистика традиционно находится на подвижной границе собственно художественно-образной коммуникации и коммуникации, отмеченной печатью достоверной фактографии, документальной основательности, освещенной собственным жизненным и житейским опытом автора, его зоркой и цепкой наблюдательностью, его заинтересованной (лирической по преимуществу) оценкой. Перспективно в этой связи вводить в круг специального рассмотрения наиболее красноречиво выразительные художественно-публицистические публикации разных историко-культурных эпох, тексты, в которых запечатлен богатый материал для понимания поэтики человеческого общения. Яркий тому пример – крайне редко упоминаемый в лингво-литературоведческих и культурологических трудах очерк К. Д. Ушинского «Поездка за Волхов» [5: 260–308].

К. Д. Ушинский (1824–1870) справедливо вошел в историю русской культуры прежде всего как великий педагог, учитель учителей и детский писатель. Между тем настала пора признать его и выдающимся мастером русской словесности, что называется, без возрастных ограничений. Настала пора ввести его в блистательный ряд классиков отечественной литературы и публицистики. Его очерк «Поездка за Волхов» – примечательное явление русского литературного слова. Текст этот, впервые опубликованный в № 9 журнала «Современник» за 1852 г., дает отчетливое представление о масштабах поэтико-публицистического дарования автора.

Для меня же сейчас важно и то обстоятельство, что очерк этот содержит богатый материал для изучения живой жизни речевых жанров в разных их повседневных преломлениях и осуществлениях. Моя задача – предъявить этот текст как один из возможных и актуальных источников жанроведческих наблюдений под углом зрения поэтики человеческого общения, эстетической (а в нераздельности и этической) компоненты устной диалогической речи.

+ + + + +

Последовательный рассказ о своем путешествии по Неве из Петербурга до Ладоги автор начинает с картины трогательного прощания людей на берегу с пассажирами, отплывающими на пароходе. Мы сразу же становимся свидетелями живого диалога, трепетной тревоги расставаний, последних напутствий и предотъездных напоминаний. Метонимически скуп и метко поданы собирательные образы прощающихся друг с другом: «Колокольчик прозвенел во второй раз: толпа провожавших бросилась на берег, и пароход медленно отвалил. Пискливые и басистые «прощайте, до свиданья, adieu, leben sie wohl» сыпались с примесью утренней сиплости на корму, тогда как на нос парохода падали, как бомбы, увесистые поклоны

не менее увесистым Акулине Савишне, Марье Трофимовне, дяде Герасиму, на которые получались удовлетворительные ответы: «Будем кланяться!»».

Затем всё читательское внимание привлечено оказывается к крохотному эпизоду, в котором пронзительно ёмко преломляется коммуникативная проекция трёх ключевых, ценностно-ориентированных компонентов русской культуры – концептов дружба, правда, душа [6: 115–131]:

«Наконец, пароход отплыл на такое расстояние, что прощанья должны были умолкнуть, и провожавшие начали расходиться с пристани; только один дюжий парень, без шапки, в рубахе нараспашку, не мог оторвать глаз от предмета своей дружбы – такого же дюжего и такого же рыжего детины в сером армяке. Парень на берегу истоцил, казалось, все прощальные фразы и только махал рукою и грозил кулаком своему отъезжающему приятелю; когда же пароход был уже готов скрыться, он собрал свои последние силы и гаркнул во всю мочь: “Эй, Ванюха! Прощай, прощай, разбойник! Прощай...” Ванюха в ответ на любезность своего приятеля послал такую же любезность и, завернувшись в армяк, растянулся на полу, положив голову на ноги своего соседа, который уже храпел».

Мы видим, как сердечная приязнь выражается по нарастающей, со все более восстающим градусом экспрессии и страсти. Впечатляет картина провожания, усердного и рьяного, изо всех сил душевных. Так преданные друг другу люди расстаются надолго, насовсем. Так волею обстоятельств разлучаются закадычные друзья.

Автор пробует утопить своё естественное любопытство и вступает как бы в нечаянный диалог со скупым на слова Ванюхой, точнее, досаждаёт настойчивыми расспросами о провожавшем его приятеле. Любопытна экспрессия ответов Ванюхи. В них и растущее от раза к разу простодушное удивление, и некоторая досада по поводу недогадливости пристающего к нему с расспросами человека, и глубоко упрямое от чужих глаз грустное чувство:

«– Что это – брат, что ли, тебя провожал? – спросил я его.

– Брат? Како брат!

– Так вы земляки?

– Уж и земляки!

– Из одной деревни?

– Како из одной деревни? – сказал он, махнул рукою и грустно понурил голову.

– Так что же он тебе? – приставал я.

– Что он мне? Ничего! А так, вместе кирпич делали, ну и делали; а приведет ли Бог свидеться?

И парень повернулся, ему, видимо, было грустно.

Пароход выбрался на середину и пошел полным ходом» [5: 260–261].

Так завершается зарисовка разговора. Мы узнаем про искреннее, взаврадашнее, трогательно не выговариваемое душевное родство, связывающее двух «дюжих парней». Становится ясно, что так сблизило двух участников безудержно пылкого и, вместе с тем, по-мужски скупого прощального диалога. Их соединили общий труд, взаимное приятное расположение, доброе бескорыстное товарищество. Наше воображение сразу же легко и свободно подсказывает, как им было друг с другом хорошо работать и общаться по душам, какого рода эмоциональная привязанность, не лишенная, быть может, и самопожертвования, их соединила, как успели они открыть-излить друг другу душу в процессе своего тесного общения. Поразительно емкая, динамичная, точно схваченная сценка, передающая удивительные особенности доброго русского характера, привязчивого и эмоционально щедрого. Ключевое слово, характеризующее душевное состояние Ванюхи, – не передаваемая словами, невыразимо щемящая грусть, неразрывно связанная с представлениями о прощании (быть может, навсегда) с добрым другом-приятелем. По точным наблюдениям В. В. Колесова, «грусть – типично русское настроение, простое индивидуальное состояние чувств, неподвластных разуму и анализу, представленное в тот момент, когда субъект утрачивает свой предмет, но еще сохраняет энергию действия; теплое по природе, но лишённое счастья и радости, это скорбь упрека и недостатка, переживание не личной боязни (как Печаль), не опасности (как Тоска), а слабой степени печали как душевное сокрушение (грустно)» [7: 10].

Между тем повествователь в «Поездке за Волхов» продолжает делиться своими путевыми впечатлениями. Он передаёт непосредственные ощущения от быстро меняющихся картин берегов, от могучей и полной «до самых краев» Невы:

– А не правда ли, окрестности Петербурга очень грустны? – проговорил кто-то басом возле меня, так что я вздрогнул и оглянулся.

Эта реплика отпущена как бы невзначай в никуда. И вместе с тем она, вне сомнений, имеет в виду вполне конкретного, рядом находящегося адресата. Эта фраза представляет собой пример наугад высказанного инициативного зачина предполагаемого, вероятного разговора с незнакомым человеком, с которым непроизвольно возникла доверительная охота поделиться своими впечатлениями. Вопросительная интонация перебивается утвердительностью суждения. Так неожиданно происходит интересное и слу-

чайное палубное знакомство. Инициатор – попутчик автора: «Добродушное выражение его лица напоминало мне моих знакомцев степных помещиков, и мне показалось, что я где-то его видел».

Слово за словом, и завязывается беседа общительного и неугомонного пензенского «степного помещика» Аркадия Петровича с автором. По ходу обмена репликами используются церемонные этикетные обороты, свойственные устной речевой культуре образованных людей России позапрошлого века, отчасти, с некоторой долей самонасмешливого пародирования, сохраняющиеся и в наше время: «Мне кажется, я имел удовольствие где-то встречаться с вами?»; «Весьма вероятно»; «Скажите же мне, пожалуйста (я степняк, и этот вопрос для меня извинителен), вы должно быть отлично знаете Россию?».

Даже приступая к спору, они не оставляют предупредительно вежливой манеры обращения: «Но я попрошу ответить мне на некоторые вопросы, только беру наперед слово, что вы будете отвечать чистосердечно»; «Извольте» и др.

Почти сразу же открылось, что они давно знакомы и «почти родные». Последующее сюжетно-очерковое развитие погружает читателя в неторопливый разговор случайных спутников, оказавшихся земляками. Разговор невольно переходит в спор. Спор этот касается их разного оценочного отношения к особенностям российского ландшафта – прекраснородного и восторженного взгляда у Аркадия Петровича и сдержанно скептического у автора:

– Куда же вы теперь пробираетесь, Аркадий Петрович? – спросил я своего собеседника. – Или все еще продолжаете свое вечное путешествие по России?

В вопросе оцутима уже встречающая заинтересованность в продолжении разговора: обращение по имени и отчеству, некоторая доля легкого подтрунивания над стойким увлечением попутчика («продолжаете свое вечное путешествие»). В контексте разворачивающегося диалога важна и несколько провокативно усмешливая семантика глагола «пробираться», т. е. трудно перемещаться, передвигаться, преодолевая на своем пути заведомо известные и неизвестные препятствия и неудобства. Собеседник подхватывает эту интонацию и переводит её в регистр убежденно добродушного подтрунивания над собой, над своей милой сердцу страсти к перемене мест.

«– Да! И не намерен никогда его кончить. Это совсем не так скучно, как вы думаете. Я только что вернулся из Финляндии и пробираться теперь

в Петрозаводск, а оттуда думаю махнуть в Колу. Впрочем, еще и сам хорошенько не знаю, куда направляю стопы свои. А вы?»

– Я еду по делам, в Ладужский уезд, в деревню».

Этим ответом Аркадий Петрович несказанно обрадован: ему искренне хочется приобщить симпатичного собеседника к своим увлечениям, связанным с нескончаемыми, представляющими огромный интерес странствованиями по родной стране:

«– Bravo! Я вас поздравляю. Вам предстоит прекрасная дорога, и вы, верно, напечатаете свои дорожные впечатления?»

– Право не знаю. Кажется, здесь не предстоит ничего особенно интересного, да что и есть, так все известно и переизвестно. Я удивляюсь вам, как вы находите пищу для любознательности в бесконечных вояжах по этой однообразной равнине?»

Последняя реплика сильно задевает собеседника за живое, он выдерживает паузу, а затем вежливо, но твердо решается оппонировать, используя форму множественного числа для аттестации несогласных с собой:

«– Странны для меня все вы, господа! – проговорил он наконец. – Однообразная равнина да однообразная равнина! Затвердили одно, да на этом и остановились».

Автор в ответ как-то смиренно пробует прекословить, ссылаясь при этом на авторитетный для него прецедент. Его высказывание обращено «не только к своему предмету, но и к чужим словам о нем» [8: 274]:

«– Ну право же, Аркадий Петрович, вы должны сознаться, что разнообразие не слишком велико. Граф Соллогуб несколько прав, говоря, что у нас ездят, а не путешествуют».

Ссылка на повесть В. А. Соллогуба «Тарантас. Путевые впечатления» (1840) оставляет Аркадия Петровича равнодушным. Скорее всего, ему чуждо подобное сатирическое живое описание русской жизни. Собеседник, «лукаво улыбаясь», укоряет повествователя в том, что он мало и плохо знает Россию. В их диалоге появляются церемонные выражения, отмеченные куда более напористой и жесткой экспрессией: «Странно! Никто ничего не знает, а описывать нечего и путешествовать незачем? Я тут чего-то не понимаю»; «Вы правы только отчасти».

Следует развернутая и доказательная реплика Аркадия Петровича, больше напоминающая страстно поэтический, патетический монолог:

«Но неужели на вас производят одно и то же впечатление и саратовские поля, и калмыцкая степь, и владимирские болота, и окрестности Москвы, и холмистые пространства Орла и Тулы, и равнины Малороссии и новороссийская степь,

и белорусские песчаные и лесистые пространства, и вологодские леса, и здешние болота? Неужели на вас веет одною жизнью и посреди умных и веселых москвичей, и посреди патриархальных вологжан, и посреди промышленных архангельцев, и посреди приземистых белорусцев? Где же здесь однообразие?»

Показателен примиряющий финал разговора, в котором от начавшего было закипать спора стал намечаться путь к взаимному поиску согласия: «Я замолчал, побежденный неумолимой логикой моего собеседника, хотя какие-то возражения еще шевелились в моем уме» [5: 262–266].

Встречаем мы в очерке Ушинского и живой, незлобивой насмешкой окрашенный эпизод пререкания моряков с жадноватым немцем. В речевом воплощении – это сплав комичного диалога, энергичного препирательства, лукавого обманного слова, снисходительного ворчания, а в целом – доброжелательно-деятельного и, как бы мы сегодня сказали, практико-ориентированного речевого общения-торга по принципу «кто кого переспорит». Комизм ситуации заключается в том, что толстяк-немец явно притворяется неспособным полноценно участвовать в предлагаемой ему коммуникации, а другая сторона – рулевой, ясно – про себя – сознавая притворство знакомого ему уже по прежним рейсам скупого пассажира, неуступчиво и последовательно продавливая свою линию поведения. Дополнительные забавные штрихи в общую ситуацию вносят и носильщики, и бабы на берегу, настойчиво предлагающие немцу кто свои услуги, кто вяленую жирную и костлявую рыбу:

«– Ich verstehe nicht, не понимай! – раздалось у нас над самым ухом. Я выглянул в узенькое окошечко и увидел довольно забавную сцену. Какой-то толстяк стоял на берегу, задыхаясь под тяжестью чемодана и множества узелков, наваленных горою на его плечах. Его обступило несколько носильщиков, настойчиво предлагавших ему свои услуги, несколько баб совали ему судки с вялеными сыртями. Рулевой приступил к нему, требуя, чтобы он нанял себе особую каюту.

– Не понимай! – бормотал он, стараясь взбросить сам на палубу свои вещи.

– Знаем мы вас, – не понимай! – ворчал рулевой.
– Да дай хоть двугривенный, чтоб вещи поднять... а то смотри, плохо будет.

– Гривенник! – сказал немец.

– Двугривенный! – отвечал рулевой и полез наверх.

Новый пассажир сделал последнее усилие, но чемодан вылетел у него из рук и упал в воду.

Все захохотали, и немец вытащил двугривенный, произнося какую-то брань на немецком диалекте. Вещи были подняты, и самого хозяина их кое-как спровадили на палубу, которая страшно затрещала под ним.

– Тихе, не возись! – закричал рулевой. Из-за пятака серебра ты у меня весь трешкот разломись... Ну, с Богом, отчаливай!» [5: 275].

Финал сценки умиротворяющий. Трешкот – небольшое деревянное беспалубное речное судно, на которое пришлось пересечь пассажирам парохода, чтобы беспрепятственно преодолеть шлюзовую систему. Исход конфликтной ситуации получается утешительным для обеих сторон с некоторым, правда, уроном для прижимистого господина.

Целый калейдоскоп разных речевых жанров сопутствует трешкоту, очень медленно проплывающему мимо совсем близких шлюзовых берегов. Чуткая наблюдательность автора позволяет выхватить несколько живописных речевых эпизодов.

Вот толпа рабочих, усевшись на палубе в тесный кружок, спорит с необычайным жаром. Предмет спора – преимущество ремесел, которыми каждый из них владел. При этом спорящий «выхвалял свое и порицал чужое». Запоминается, как «петербургский каменщик, перевознось своё занятие, лгал немилосердно; барочник-костромич слушал его внимательно, хотя, по-видимому, не верил его словам и твердо стоял за свое непоседное ремесло; странствующий плотник порочил их обоих, но когда бурлак хотел тоже вмешаться в этот спор и защитит свое бедное занятие, то рулевой оглушил его такой насмешкой, что бедняк махнул рукою, повернулся лицом вниз и, уткнув нос в свою суконную шапку, скоро захрапел».

Это особый, фатический по своей природе жанр речевого развлечения, самохвальной забавы, потешного досуга. Спорили от нечего делать, чтобы себя показать и время на дороге скоротать. Рулевой по ходу дела с присущим ему задором исполнял обязанности арбитра. Своего рода спор-игра, спор-соствязание, спор-похвальба – по кругу, по очереди, в котором обычно преобладает установка на греющую душу фантазию, смешанную с реальностью: кто себя, свое занятие, свое дело-ремесло перехвалят, выставит в самом лучшем виде, в самом выгодном свете. Вспомним наивную детскую вариацию такого невинно-задиристого разговора в стихотворении С. В. Михалкова «А что у вас?» («А у нас в квартире газ!»).

Между тем автор рассматриваемого очерка обращает внимание на то, что круговая речевая игра эта, с одной стороны «часто превращалась в общий спор, в котором принимали участие все сидевшие на палубе» (в коммуникативное развлечение охотно включались и сторонние наблюдатели – по случаю оказавшиеся поблизости невольные слушатели-«болельщики»). С другой же стороны, «всегда этот спор оканчивался общим соглашением

на каких-нибудь сентенциях народной логики, вроде следующих: «всякое ремесло хорошо, если сам хорош», «добрый человек везде уживется», «всякому свое» и т. п.» [5: 279]. Народная пословично-поговорочная мудрость своей обобщающей успокоительной складностью примиряла спорящих, приводила их к душевному порядку.

Автор сосредоточивает читательское внимание и на совсем иной группе пассажиров, на другом РЖ. Перед нами оказывается «полдюжины баб, у которых платки были надвинуты на самые глаза; они все пригорюнились, поминутно зевали, охали и крестились. Одна каялась во всеуслышание в своих прежних грехах: рассказывала, какая она была гулящая и как надувала своего мужа. Все слушали ее очень снисходительно и жалели о ней, как будто бы она рассказывала о своей болезни».

Подобного рода коммуникативная традиция – надрывная, душераздирающая публичная исповедь-покаяние и искренняя душевная реакция сочувствующих слушательниц на глубоко личные пронзительные признания – не такая уж редкость на Руси. Повествователь спешит деликатно разъяснить: «Крестьяне очень снисходительны к слабостям своих ближних и смотрят на беспутную жизнь или как на наваждение нечистого, или как на болезнь. Все эти бабы отправлялись из Петербурга по своим деревням к Троицкому дню, чтобы помахать зеленой веткой над могилами своих мужей. Мужчины смеялись над ними, но они отвечали на эти насмешки только покачиванием головы и смиренным вздохом». Показательна благосклонно прощающая реакция на мужской смех крестьянских вдов. Самое главное в этой сложной, на первый взгляд, картине общения – взаимная внутренняя уступчивость, встречная покорная и добрая уживчивость. Касаясь мужского прагматизма, автор тут же отмечает: «Крестьяне наши по большей части скептики: их здравый смысл не может не посмеяться над иными поверьями, но они спускают старухам их привычки, говоря: «Это их дело!» А старухи – это настоящие мешки, в которых предания старины и предрассудки хранятся бережно и передаются от предков к потомкам».

Вроде бы и коробящая метафора применена в отношении к «старухам». Но далее она разворачивается в большой и славный лиро-публицистический период. Создается величальное авторское слово о типичных носительницах традиционной русской речевой культуры, народной этики и педагогики:

«Мне случалось видеть в наших деревнях такие экземпляры старух, которые говорят как члены

китайской академии наук, ходят не иначе, как по строгим правилам; каждое движение их, каждое слово совершается по какому-нибудь преданию, по какой-нибудь пословице. Оттого лица их так важны, оттого они так часто качают головой и сожалеют о заблуждении молодежи. Только на женщинах можно еще видеть древние костюмы различных племен, вошедших в состав России, они больше сберегают старые сказки, и даже язык их более, нежели язык мужчин, сохраняет следы племенного различия. Чувство, предание, мечта преобладают в наших крестьянках, тогда как в мужчинах здравый, ясный смысл сглаживает все различия, и общий русский костюм, общий русский язык, общая русская логика, недалекая, но сметливо-хозяйственная, основанная на начале порядка, везде берет перевес» [3: 279–280].

С позиций литературной поэтики, это несомненное стихотворение в прозе, пространственный в мировом искусстве жанр, в котором прозаический строй речи органично соотносится с поэтической эмоционально-экспрессивной выразительностью и образной емкостью. Слагается гимн в честь особой разновидности русских «старух», чьи по-настоящему мудрые речевые повадки исполнены строгого достоинства и требовательной многозначительности. Собирательный образ русской старухи – хранительницы родного очага невольно предсказывает-аттестует и бабушку Наталью из рассказа В. Г. Распутина «Женский разговор» (1994), и многих других степенных, мудрых и славных героинь русской словесности и русской повседневно-жизненной реальности.

Попутно автор очерка «Поездка за Волхов» припоминает и разговор по душам со знакомым зажиточным и рассудительным крестьянином. Разговор сопровождается расспрашиванием: «– А хорошо ваше село, Петр Кондратьевич, – сказал я хозяину, – мне еще не приводилось видеть такого. И видно, что люди живут трудящие.

– Да-с! – сказал он, приосанившись и наливая мне чай в красивую фарфоровую чашку. – Да-с! Оно, конечно, труд – дело важное, да и с трудом-то ничего не возьмешь, коли сметки нету, ну да и удача тоже дело не последнее» [5: 302]. Каждое слово – на вес золота. За каждым словом – твердое убеждение в праведном течении жизни при умном сопряжении трудолюбия и сметки.

В очерке Ушинского много образцов трогательной внутренней речи повествователя, много проникновенных рассуждений наедине с самим собой о совпадении законов истории земли и истории её народа, о замечательных страницах русской исторической жизни, о живописном местоположении наших древних городов, о речных островах – «любимом месте славянских дружин», о посвященных

светлому и мирному богу Ладо веселых песнях древних славян, и о многом др.

Приметливый повествователь воспроизводит и запомнившиеся ему насмешки и передразнивания, которые привычно расточал рулевой, и добрые напутствия-пожелания, адресованные тем, над кем он только что добродушно, хотя и задиристо тоже, потешался. Обращает на себя внимание парадоксально скорый, почти безостановочный переход от небезобидных (кстати сказать, так и остающихся семантически не понятными автору и вместе с ним читателей) взбадривающих поддразниваний к искренним поощрительно-этикетным просторечным пожеланиям:

«– Эй вы, барочки, Божьи дети! Пока доедете, весь хлеб переедите. Кушайте, кушайте кашу, брызнуть бы воды вам в чашу.

Барочки ворчали,

– Хлеб да соль, ребята! – продолжал рулевой, как будто ни в чем не бывало.

– Хлеба кушать! – отвечали они в один голос.

– Спасибо, спасибо, ребята! А у меня к вам дельце есть, – продолжал рулевой, – дядюшка Прохор письмо послал.

И барочки не могли перенести этих слов, побросали ложки, схватили шесты, и самые звонкие эпитеты долго провожали нас.

Я не мог доброты, что за горечь скрывается в этих бессмысленных словах, но при многочисленных пробах они всегда производили одинаковое действие, и притом если про дядю Прохора говорили бурлакам, то они нисколько не обижались, а, напротив, испускали дружный хохот, означавший: “молод ты еще зубы скалить!”, и, наоборот, приветствие, назначенное бурлакам, нисколько не трогало барочников».

Смысл иных насмешек, дразнилок, обзывалок и поддевок потерян («Бог знает, из каких далеких времен идут эти поговорки», – размышляет автор), но задор и горечь, сокрытые в них, «пробивают толстую кожу барочника и бурлака, которой не пробить и самую едкою бранью» [5: 286–288]. Разумеется, приткий и словоохотливый рулевой прекрасно чувствует адресатов своих бойких высказываний, и отбор языковых средств умело производится им постоянно «под большим или меньшим влиянием адресата и его предвосхищаемого ответа» [8: 280].

Автор воспроизводит и свой исключительно интересный разговор с одним из бурлаков. И снова отмечается: собралось человек двадцать, как их называли, «волопёхов», и в их общении «господствовало совершенное дружелюбие». Бросается в глаза постоянно отмечаемый автором общий позитивный, приятный настрой в народной среде, готовность к полюбовному душевному контакту.

Особый интерес вызвал лежавший в центре образовавшейся группы «высокий сухой

мужчина в сером дырявом армяке. /.../ Через плечо его висела кожаная сума, а у ног, босых и израненных, лежал огромный посох и мешок с хлебом». Следуют доброжелательные авторские расспросы и ответы мужика. Повествователь старается воспроизвести ответные реплики в характерном для говорившего севернорусском диалектном наречии с отчетливыми признаками цоканья. «Я мог запомнить, – признаётся автор, – только несколько звуков этого смешанного наречия и потому за полную верность не отвечаю». Вот как в его записи выглядит их короткий разговор:

«– Куда ты, любезный? – спросил я его, привлеченный его характерной физиономией.

– Збирал на церковь Божию, господине, а теперичи пробираюсь домой, в Вологодьцкую губернию, в Тотюмский уезд, в село Руцы.

– И давно ты собираешь на церковь?

– Да уже двенадцатый годоцёк, господине, на четвертую церковь збираю.

– Да чего же тебя заставило взяться за такую жизнь, бросить семью и дом?

– Нет у меня семьи, господине, одна матушка только, да и та у монастыри живёт, а збираю по обещанию, господине.

– Какое же обещание дал ты?

– Оно рассказать ницаго, господине, мосьно, и народу поучение и себе покаяние, да длинно рассказываць, господине» [3: 280–281].

Пройдет совсем немного времени, и уже на берегу судьба их сведет снова. На этот раз мы узнаем об истории его жизни. Но прежде всего наше внимание автор обратит на характер общения с миром этого встретившегося ему удивительного человека. Особо – на его неповторимую улыбку. Улыбка его не только выполняет функцию коммуникативного сопровождения, но и уместно замещает порой словесно-речевые воплощения (говорящая улыбка вместо необязательных слов). Мы узнаем и про его добрый взгляд, про его славный, «почти детский» голос, и про самую кроткую манеру разговора, про внутреннюю готовность вступать в беседу.

Надо заметить, что повествователь очень тонко чувствует своего собеседника, в его вопросах слышна предупредительная забота об адресате, то, что М. М. Бахтин называл «диалогическими обертонами» [8: 272]:

«вдруг внимание мое привлекла грустная песня, раздававшаяся впереди. Я ускорил шаги, но песня вдруг прекратилась, и я увидел высокую фигуру тотемца, того самого, с которым я познакомился на трешкоте. Увидев меня, он приостановился.

– А, старый знакомый! Скоренько же ты ходишь, – сказал я ему, поглядывая с изумлением на его тяжелую суму и босые израненные ноги.

– Здравствуй, господине! – проговорил он своим кротким детским голосом. – А ты, видно, у Ильи ноциовау.

– А ты, видно, нигде не ночевал?

Он не отвечал на мой вопрос, а только улыбнулся. Эта светлая улыбка странно отразилась на этом суровом, страшно худом лице, изрытом оспою и преждевременными морщинами, похожими более на швы и рубцы залеченных ран, нежели на те легкие черточки, которыми покойная старость оттеняет лицо человека. Эта улыбка странника, его кроткие голубые глаза, его почти детский нежный голос показывали в нем одного из тех людей, которых крестьяне дают название людей божьих и у которых сердце слишком кротко и мягко, чтобы вынести грубую жизнь; впрочем, твердая, разумная речь странника была вовсе не похожа на бессвязный лепет юродивых».

В герое Ушинского проступает та приятная совокупность человеческих качеств, которую мы привычно зовем цельностью, самодостаточностью натуры. И в полной мере раскрывается его характер в органичном речевом поведении, в его склонности к застенчивой откровенности, к доброжелательному приятию других людей:

«– Это ты пел песню? – спросил я у тотемца.

– Да, господине, – отвечал он, немного смутившись. – И сам не ведаю цюгото сердиоцько больно засцюмило, прости, господи!

И он набожно перекрестился.

– Видно по сиолу, по родимому, – прибавил он задумчиво, будто отыскивая сам, отчего ему стало грустно.

– Что же, разве тебе здешняя сторона не нравится?

– Ой, что ты, господине! Бог с тобою! Уезде люди, уезде христиане и храмы Божий, а так сгрустнулось, сам не ведаю цюго».

Автор напоминает тотемцу про обещание рассказать о своей судьбе, о том, что побудило его начать долгую странническую жизнь. Последовал поразительно искренний рассказ. Впечатления от этого рассказа, переданные повествователем, позволяют отнести его к удивительно светлым образцам поэтики человеческого общения. Странник говорил «с такою простотою, с такою беспощадностью к самому себе, с такою снисходительностью к слабостям других, что я невольно верил каждому его слову и удивлялся тому чувству приличия, с которым высказывал он самые темные случаи своей жизни».

Подробности рассказа автором не воссоздаются. Причина – в очевидных законах самого жанра публицистического по своей природе очерка. Одно дело – придуманное, сочиненное, художественно-образное повествование, и совсем другое – то, что основано на действительных событиях и встречах:

«Да и имею ли я право передавать всем эту откровенную исповедь человека, который решился не скрашивать ничего, высказывать все и не щадить себя ни на словах, ни на деле? Скажу только, что в молодости он сделался случайно обладателем большой суммы денег и предался самому безграничному разгулу, не внимая никаким увещаниям своего отца и родных. В чаду разгула он сделал проступок, за который совесть мучила его беспощадно. Она преследовала его везде, не покидая ни на минуту, и он нашел покой и прибежище только в посвящении своей жизни прославлению Имени Божия. Четвертая церковь строилась трудами его. Я смотрел на него с невольным чувством умиления: такая твердость воли, такое постоянство сознания своего проступка, такая глубина чувства ставили этого человека на неизмеримое расстояние от наших легких, забывчивых натур» [3: 304–305].

Замечу здесь, что историки русской словесности при активном соучастии русских литературных критиков давно уже определили и закрепили в сознании многих уже читательских поколений стойкие представления о распространенных типах героев, прочно прописанных в нашей речевой словесно-школьной культуре, в научно-педагогических дискурсах и т. д. Это и «лишние люди», и «пошлые люди», и «маленькие люди», и «новые люди». Между тем велика необходимость поддержки давно уже напрашивающейся мысли. Одно из самых почетных мест в типологии-иерархии героев нашей словесности, героев, которые в огромной степени были и остаются носителями национальной специфики русской культуры, «психического склада русского этноса» [9: 243], должны бы были с полным на то правом занимать наши русские литературные «добрые люди». Прекрасно понимаю, что, пускаясь в неблагодарное, в вынужденно не полное вкусовое перечисление, вызову массу недоумений явной краткостью этого ряда. Припомню, однако, пушкинских Татьяну Ларину, Петра Гринева, Мироновых, гоголевских старосветских помещиков, гончаровского Илью Ильича Обломова, толстовских Наташу Ростову и капитана Тушина, князя Мышкина и Алешу Карамазова Достоевского, чеховского Ивана Великопольского, светлых лесковских персонажей, Юрия Живаго Бориса Пастернака, Василия Тёркина Александра Твардовского, шолоховского Андрея Соколова, солженицынскую Матрону, учительницу французского Лидию Михайловну из рассказа Валентина Распутина, многих героев Василия Шукшина и наших писателей-«деревенщиков»... В этом ряду, вне сомнений, может найти свое скромное место и наш светлый странник из вологодской Тотьмы.

Очерк К. Д. Ушинского «Поездка за Волхов» – богатое собрание образов русского речежанрового искусства, проливающее свет

на наследуемую нами, вопреки всем грандиозным, глобальным историческим превращениям, поэтику доброжелательного и мудрого человеческого общения. Исследуемый сюжет,

при всей его видимой частности, представляет звено в обширном изучении огромного массива «русской речевой культуры с позиции речевых жанров» [10: 11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьев В. В. Теория речевых жанров. М. : Знак, 2010. 600 с.
2. Дементьев В. В. О поэтике человеческого общения // *Stylistyka XIV*. 2005. Opole, 2005. P. 121–150.
3. Иванова М. В., Клущина Н. И. Публицистика в истории русского литературного языка: от древнерусской словесности к интернет-коммуникации // Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранные языки и методики их преподавания. 2018. Т. 16, № 1. С. 50–62.
4. Русская публицистика. Эволюция идей и форм: сб. статей / отв. ред. Л. П. Громова. СПб. : Алетейя, 2021. 498 с.
5. Ушинский К. Д. Поездка за Волхов // Ушинский К. Д. Собр. соч.: в 11 т. Т. 1. М. ; Л. : Изд-во Акад. Пед. наук РСФСР, 1948. С. 260–308.
6. Дементьев В. В. Коммуникативные ценности русской культуры: категория персональности в лексике и прагматике. М. : Глобал Ком, 2013. 336 с.
7. Колесов В. В. Грусть-тоска в русском языковом сознании // Мир русского слова. 2017. № 3. С. 5–13.
8. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. 422 с.
9. Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. М. : Аспект Пресс, 1997. 686 с.
10. Балашова Л. В., Дементьев В. В. Русские речевые жанры. М. : Изд. Дом ЯСК, 2022. 832 с.

REFERENCES

1. Demytyev V. V. *Teorija rechevyh zhanrov* [The Theory of Speech Genres]. Moscow, Znak Publ., 2010. 600 p. (in Russian).

2. Demytyev V. V. On the poetics of human communication. *Stylistyka XIV*. 2005. Opole, 2005, pp. 121–150 (in Russian).

3. Ivanova M. V., Klushina N. I. Publicism in the history of the Russian literary language: From ancient Russian literature to Internet communication. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Russian and foreign languages and methods of their teaching*, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 50–62 (in Russian).

4. *Russkaya publitsistika. Evolyutsiya idey i form: sb. statey. Otv. red. L. P. Gromova* [L. P. Gromova, ed. Russian journalism. Evolution of ideas and forms: coll. arts.]. Saint Petersburg, Aleteyya Publ., 2021. 498 p. (in Russian).

5. Ushinsky K. D. A trip beyond the Volkhov. *Ushinsky K. D. Collected works: in 11 volumes. Vol. 1*. Moscow, Leningrad, Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR Publ., 1948, pp. 260–308 (in Russian).

6. Demytyev V. V. *Kommunikativnye tsennosti russkoy kul'tury. Kategoriya personal'nosti v leksike i pragmatike* [Communicative Values of the Russian Culture: Category of Personality in Vocabulary and Pragmatics]. Moscow, Global Kom Publ., 2013. 336 p. (in Russian).

7. Kolesov V. V. Sadness-longing in the Russian language consciousness. *The World of the Russian Word*, 2017, no. 3, pp. 5–13 (in Russian).

8. Bakhtin M. M. *Aestetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow, Iskustvo Publ., 1979. 422 p. (in Russian).

9. Kondakov I. V. *Vvedeniye v istoriyu russkoy kul'tury* [Introduction to the history of Russian culture]. Moscow, Aspect Press Publ., 1997. 686 p. (in Russian).

10. Balashova L. V., Demytyev V. V. *Russkiye rechevye zhanry* [Russian speech genres]. Moscow, LRC Publishing house, 2022. 832 p. (in Russian).

Поступила в редакцию 05.06.2022; одобрена после рецензирования 15.08.2022; принята к публикации 29.08.2022
The article was submitted 05.06.2022; approved after reviewing 15.08.2022; accepted for publication 29.08.2022